

Викентий Вересаев

Воспоминания



Викентий Вересаев

Воспоминания

«Public Domain»

1935

Вересаев В. В.

Воспоминания / В. В. Вересаев — «Public Domain», 1935

«Краткую свою автобиографию Юм начинает так: „Очень трудно долго говорить о себе без тщеславия“. Это верно. Но то, что я тут описываю, было пятьдесят лет назад и больше. Совсем уже почти как на чужого я смотрю на маленького мальчика Витю Смидовича, мне нечего тщеславиться его добродетелями, нечего стыдиться его пороков. И не из тщеславного желания оставить „потомкам“ описание своей жизни пишу я эту автобиографию. Меня просто интересовала душа мальчика, которую я имел возможность наблюдать ближе, чем чью-либо иную; интересовала не совсем средняя и не совсем обычная обстановка, в которой он рос, тот своеобразный отпечаток, который наложила на его душу эта обстановка...»

© Вересаев В. В., 1935

© Public Domain, 1935

Содержание

И. В юные годы	5
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Викентий Вересаев

Воспоминания

Памяти отца моего Викентия Игнатьевича СМИДОВИЧА

*И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
О, мой отец, подвигнут я тобою,
Во мае возжес живу ю души ты.*

І. В юные годы

Краткую свою автобиографию Юм начинает так: «Очень трудно долго говорить о себе без тщеславия». Это верно.

Но то, что я тут описываю, было пятьдесят лет назад и больше. Совсем уже почти как на чужого я смотрю на маленького мальчика Витю Смидовича, мне нечего тщеславиться его добродетелями, нечего стыдиться его пороков. И не из тщеславного желания оставить «потомкам» описание своей жизни пишу я эту автобиографию. Меня просто интересовала душа мальчика, которую я имел возможность наблюдать ближе, чем чью-либо иную; интересовала не совсем средняя и не совсем обычная обстановка, в которой он рос, тот своеобразный отпечаток, который наложила на его душу эта обстановка. Буду стремиться только к одному: передавать совершенно искренно все, что я когда-то переживал, – и настолько точно, насколько все это сохранилось в моей памяти. Встретится немало противоречий. Если бы я писал художественное произведение, их следовало бы устранить или согласовать. Но здесь, – пусть остаются! Помню я так, как описываю, а присочинять не хочу.

Я сказал: для меня этот мальчик теперь почти совсем чужой. Пожалуй, это не совсем верно. Не знаю, испытывают ли что-нибудь похожее другие, но у меня так: далеко в глубине души, в очень темном ее уголке, прячется сознание, что я все тот же мальчик Витя Смидович; а то, что я – «писатель», «доктор», что мне скоро шестьдесят лет, – все это только нарочно; немножко поскрести, – и осыплется шелуха, выскочит маленький мальчик Витя Смидович и захочет выкинуть какую-нибудь озорную штуку самого детского размаха.

9 сентября 1925 г.

* * *

Я родился в Туле, 4/16 января 1867 года. Отец мой был поляк, мать русская. Кровь во мне вообще в достаточной мере смешанная: мать отца была немка, дед моей матери был украинец, его жена, моя прабабка, – гречанка.

Мой отец, Викентий Игнатьевич Смидович, был врач. Он умер в ноябре 1894 года, заразившись сыпным тифом от больного. Смерть его вдруг обнаружила, какою он пользовался популярностью и любовью в Туле, где всю жизнь работал. Похороны его были грандиозные. В лучшем тогда медицинском еженедельнике «Врач», выходившем под редакцией проф. В. А. Манасейна, в двух номерах подряд были помещены два некролога отца, редакция сообщала, что получила еще два некролога, которых за недостатком места не печатает. Вот

выдержки из напечатанных некрологов. Тон их – обычный слащаво-хвалебный тон некрологов, но по существу все передается верно. Один из некрологов писал:

Кончив в 1860 г. курс в Московском университете, Викентий Игнатьевич начал и кончил свою общественную службу в Туле. Высокообразованный и человечный, в высшей степени отзывчивый на все доброе, трудолюбивый и до крайней степени скромный в своих личных требованиях, он всю свою жизнь посвятил служению городскому обществу. Не было ни одного серьезного городского вопроса, в котором бы так или иначе Викентий Игнатьевич не принимал участия. Он был в числе учредителей Общества тульских врачей. Ему же принадлежит мысль об открытии городской лечебницы при О-ве врачей, – этого единственного в городе всем доступного учреждения. Все помнят Викентия Игнатьевича как гласного Городской думы: ни один серьезный вопрос в городском хозяйстве не проходил без его деятельного участия. Но наибольшая его заслуга, это – изучение санитарного состояния города. Метеорологические наблюдения, изучение стояния грунтовых вод и их химического состава, исследование городской почвы, направления стоков, – все это велось одним Викентием Игнатьевичем с удивительным постоянством и настойчивостью. Он принимал деятельное участие и в работах Статистического комитета, провел мысль о необходимости однодневной переписи и разработкою ее с санитарной точки зрения положил прочное начало санитарной статистике в Туле. Он устроил Городскую санитарную комиссию и до самой смерти был главным ее руководителем и работником.

Во всех общественных учреждениях, в которых он участвовал, – пишет автор другого некролога, – Викентий Игнатьевич пользовался большим уважением и авторитетом, благодаря своему уму, твердости убеждений в честности. Везде он был самым деятельным членом, везде много работал, – больше, чем казалось бы возможным при его обширной Я разнообразной деятельности... Он пользовался в Туле обширною популярностью не только как врач, но и как хороший человек. Как пояснение отношения к нему населения я могу привести, между прочим, следующий характерный факт: католик по вероисповеданию, он был выбран прихожанами православной Александро-Невской церкви в члены приходского попечительства о бедных. В. И. был широко образованный человек, и не было, кажется, такой научной области, которою бы он не интересовался. В доме своем он имел недурно обставленную химическую лабораторию, которую с готовностью отдал Санитарной комиссии, не имевшей вначале собственной лаборатории. Викентий Игнатьевич оставил после себя хорошее минералогическое собрание и обширную библиотеку по самым разнообразным отраслям знания... Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые, вместе с природным недюжинным умом, обладают обширным образованием, добрым сердцем, благородным характером и скромностью истинного философа... Вне сомнения, – замечал один из некрологов, – в ближайшее время появится подробная биография этого замечательного человека («Врач», 1894, №№ 47 и 48).

Таков он был. И до последних дней он кипел, искал, бросался в работу, жадно интересовался наукою, жалел, что для нее так мало остается у него времени. Когда мне приходилось читать статьи и повести о засасывающей тине провинциальной жизни, о гибели в ней выдающихся умов и талантов, мне всегда вспоминался отец: отчего же он не погиб, отчего не опу-

стился до обывательщины, до выпивок и карт в клубе? Отчего до конца дней сохранил свою живую душу во всей красоте ее серьезного отношения к жизни и глубокого благородства?

Помню, – это уже было в девяностых годах, я тогда был студентом, – отцу пришлось вести продолжительную, упорную борьбу с губернатором из-за водопровода. Тульским губернатором в то время был Н. А. Зиновьев, впоследствии правый член Государственного Совета по назначению. В Туле сооружался водопровод. Был под городом рогоженский колодезь с прекрасной водой. За эту воду энергично высказалось общество тульских врачей с его председателем, моим отцом, во главе. Но губернатор почему-то остановил свой выбор на надеждинском колодце.

Из самодурства ли, по каким ли другим причинам, но он упрямо стоял на своем. Между тем надеждинский колодезь давал воду очень жесткую, вредную для труб, расположен был на низком месте, невдалеке от очень загрязненной рабочей слободы. Два года тянулась борьба отца с губернатором. Отец выступал против него в городской думе, в санитарной комиссии, в обществе врачей; конечно, потерял место домашнего его врача. Всемогущий губернатор одолел, и Тула получила для водопровода плохую надеждинскую воду.

Отец мой был поляк и католик. По семейным преданиям, его отец, Игнатий Михайлович, был очень богатый человек, участвовал в польском восстании 1830–1831 годов, имение его было конфисковано, и он вскоре умер в бедности. Отца моего взял к себе на воспитание его дядя, Викентий Михайлович, тульский помещик, штабс-капитан русской службы в отставке, православный. В университете отец сильно нуждался; когда кончил врачом, пришлось думать о куске хлеба и уехать из Москвы. Однажды он мне сказал:

– Сложись для меня тогда обстоятельства иначе, –

Я мог бы быть в краю отцов
Не из последних удальцов.

Отец поселился в Туле, в Туле и женился. Сначала служил ординатором в больнице Приказа общественного призрения, но с тех пор, как я себя помню, жил частной врачебной практикой. Считался одним из лучших тульских врачей, практика была огромная, очень много было бесплатной: отец никому не отказывал, шел по первому зову и очень был популярен среди тульской бедноты. Когда приходилось с ним идти по бедняцким улицам – Серебрянке, Мотягинской и подобным, – ему радостно и низко кланялись у своих убогих домишек мастеровые с зеленоватыми лицами и истощенные женщины. Хотелось, когда вырастешь, быть таким же, чтобы так же все любили.

Раз был такой случай. Позднею ночью отец ехал в санках глухою улицей от больного. Подскочили три молодца, один схватил под уздцы лошадь, другие двое стали сдирать с папных плеч шубу. Вдруг державший лошадь закричал:

– Эй, ребята, назад! Это доктор Смидович! Его лошадь!

Те ахнули, низко поклонились отцу и стали извиняться. И проводили его для безопасности до самого дома. Папа, смеясь, говаривал:

– Мне по ночам ездить не опасно: все тульские жулики мои приятели.

Жизнь он вел умеренную и размеренную, часы еды были определенные, вставал и ложился в определенный час. Но часто по ночам звонили звонки, он уезжал на час, на два к экстренному больному; после этого вставал утром с головною болью и весь день ходил хмурый.

Жизнь он видел в мрачном свете и всегда ждал от нее самого худшего. Наши детские выходки и прегрешения он воспринимал очень остро и делал из них заключение о нашем совершенно безнадежном будущем. Когда мне было лет двенадцать – тринадцать, новая, постоянно грызущая душу боль вошла в жизнь отца, это – постепенный, все увеличивавшийся упадок практики. Когда отец приехал в Тулу, врачей на весь город было человек пять-шесть.

Теперь было уже двадцать – тридцать врачей, и то и дело приезжали и селились новые молодые врачи. Отец встречал их очень радушно, помогал советами, указаниями, всем, чем мог. Но естественным результатом увеличения количества врачей было то, что часть практики переходила к новопривывшим. А семья наша была большая, детей нас было восемь человек, мы росли, расходы увеличивались. Часто, по-видимому, отцом овладевало отчаяние, что он не сможет сам поставить на ноги всех детей, – и иногда он говорил нам, старшим двум братьям:

– Я воспитал вас, – а ваше дело будет, когда я умру, воспитать младших братьев и сестер.

Должно быть, очень глубоко мне тогда вошло в душу настроение отца, потому что я и теперь часто вижу все один и тот же сон: мы все опять вместе, в родном тульском доме, смеемся, радуемся, но папы нет. То есть, он есть, но мы его не видим. Он тихонько приезжает, украдкой пробирается в свой кабинет и там живет, никому не показываясь. И это оттого, что у него теперь совсем нет практики, и он стыдится нас. И я вхожу к нему, целую его милые старческие руки в крупных веснушках, и горько плачу, и убеждаю его, что он много и хорошо поработал в своей жизни, что ему нечего стыдиться и что теперь работаем мы. А он молча на меня смотрит, – и отходит, и отходит, как тень, и исчезает.

Дела у отца было по горло. Помимо врачебной практики и общественной городской деятельности, у него всегда была масса работ и начинаний. Из года в год он вел метеорологические наблюдения. Три раза в день записывались показания барометра, максимального и минимального термометра, направление и сила ветра. На дворе стояла деревянная колонка с дождемером, в глубине двора, у навеса, вздымался высоченный шест с флюгером. Записи, впрочем, больше вела мать; часто они поручались и нам. Отец вел широкие статистические работы; я помню его кабинет, весь заваленный стопочками разнообразных статистических карточек. В их сортировке и подсчете отцу помогали и мать и мы. Ряд статистических работ отца был напечатан в журналах. Вышла и отдельная книга: «Материалы для описания города Тулы. Санитарно-экономический очерк».

Когда я еще был совсем маленьким, отец сильно увлекался садоводством, дружил с местным купцом-садоводом Кондрашовым. Иван Иванович Кондратов. Сначала я его называл Ананас-Кокос, потом – дядя-Карандаш. Были парники, была маленькая оранжерея. Смутно помню теплый, парной ее воздух, узорчатые листья пальм, стену и потолок из пыльных стекол, горки рыхлой, очень черной земли на столах, ряды горшочков с рассаженными черенками. И еще помню звучное, прочно отпечатавшееся в памяти слово «рододендрон».

На все, что кругом, отец не мог смотреть, не пытаясь вложить в это своих знаний и творчества. Помню, под его руководством печники клали печку в столовой. Они разводили руками и доказывали, что ничего из этой печки не выйдет. Но отец, приезжая от больных, каждый день проверял их работу, намечал, что делать дальше, и добродушно отшучивался на их предсказания о никчемности всей их работы. Печку сложили, затопили; оказалась великолепная; самым небольшим количеством дров нагревалась замечательно, вентилятор в ней действовал превосходно. Печники чесали за ухом и удивленно разводили руками.

Очень любил отец изобретать для себя новую мебель; был для этого у него столяр, которому он ее заказывал. То и дело появлялось у нас в доме какое-нибудь мебельное сооружение вида самого неожиданного. Помню деревянную двухспальную кровать со столбиками, подерживавшими деревянную настилку, на которую можно было ставить что угодно. Через год другой кровать была ликвидирована. Помню огромный двускатный письменный стол у отца в кабинете, заниматься за ним можно было только стоя; если сидя, то на очень высокой табуретке. По бокам стол был обтянут зеленым коленкором, а внутри стола была устроена кровать; на ней отец спал года два. Воображаю, какая была духота! И это сооружение вскоре было ликвидировано. Вообще, не скажу, чтобы мебельные фантазии отца были особенно удачны: после годовой-двухгодовой жизни каждая из них отправлялась доживать свой век в амбаре или кладовой.

Странное дело! Отец был популярнейшим в Туле детским врачом, легко умел подходить к больным детям и дружить с ними, дети так и тянулись к нему. Много позже мне часто приходилось выслушивать о нем восторженнейшие воспоминания бывших маленьких его пациентов и их матерей. Но мы, собственные его дети, чувствовали к нему некоторый почтительный страх; как мне и теперь кажется, он был слишком серьезен и ригористичен, детской души не понимал, самые естественные ее проявления вызывали в нем недоумение. Мы его стеснялись и несколько дичились, он это чувствовал, и ему было больно. Только много позже, с пробуждением умственных интересов, лет с четырнадцати – пятнадцати, мы начинали ближе сходитьсь с отцом и любить его.

Другое дело – мать. Ее мы не дичились и не стеснялись. Первые десять – пятнадцать лет главный отпечаток на наши души клала она. Звали ее Елизавета Павловна. В самых ранних моих воспоминаниях она представляется мне – полная, с ясным лицом. Помню, как со свечою в руке перед сном бесшумно обходит все комнаты и проверяет, заперты ли двери и окна, – или как, стоя с нами перед образом с горящею лампадкою, подсказывает нам молитвы, и в это время ее глаза лучатся так, как будто в них какой-то свой, самостоятельный свет.

Она была очень религиозна. Девушкою собиралась даже уйти в монастырь. В церкви мы с приглядывающимся изумлением смотрели на нее: ее глаза сняли особенным светом, она медленно крестилась, крепко вжимая пальцы в лоб, грудь и плечи, и казалось, что в это время она душою не тут. Веровала она строго по-православному и веровала, что только в православии может быть истинное спасение.

Тем удивительнее и тем трогательнее была ее любовь к мужу, – католику и поляку; больше того, – во время женитьбы отец даже был неверующим материалистом, «нигилистом». Замужество матери возмутило многих ее родных. И произошло оно как раз в 1863 году, во время восстания Польши. Двоюродный брат мамы, с которым она была очень дружна, Павел Иванович Левицкий, богатый ефремовский помещик, тогда ярый славянофил (впоследствии известный сельский хозяин), совершенно даже прервал с мамой всякое знакомство.

С тех пор, как я себя помню, отец уже не был нигилистом, а был глубоко верующим. Но молился он не так, как мы все: крестился не тремя пальцами, а всюю кистью, молитвы читал по-латыни, в нашу церковь не ходил. При молитве глаза его не светились таким светом, как у мамы; он стоял, благоговейно сложив руки и опустив глаза, с очень серьезным и сосредоточенным лицом. На большие праздники в Тулу приезжал из Калуги ксендз, – и тогда папа уходил в ихнюю, католическую церковь. И постился он не так, как мы, – с молоком, с яйцами. Но когда я был уже в гимназии, папа перешел на общий с нами православно-постный стол, – без яиц и молока, часто без рыбы, с постным маслом. Мама в душе глубоко верила, что как папа от безбожия пришел к вере, так от католичества придет к православию. Папа к обрядам относился равнодушно, видел в них только воспитывающее душу значение, но в православие не переходил. Когда он умирал, мама заговорила с ним о переходе в православие. Но он в смятении и муке ответил:

– Лизочка, не требуй от меня этого. Как ты не понимаешь? Когда наш народ и наша вера угнетены, отречься от своей веры – значит отречься от своего народа.

У мамы был непочатый запас энергии и жизненной силы. И всякую мечту она сейчас же стремилась воплотить в жизнь. Папа же любил просто помечтать и пофантазировать, не думая непременно о претворении мечты в жизнь. Скажет, например: хорошо бы поставить у забора в саду беседку, обвить ее диким виноградом. Назавтра в саду уже визг пил, стук, летят под топорами плотников белые щепки.

– Что это?

– Беседку строят.

– Какую беседку?

– Ты же сам вчера сказал.

– Так это же я так только...

Семья наша была большая, управление домом сложное; одной прислуги было шесть человек: горничная, няня, кухарка, прачка, кучер, дворник. Но для мамы как будто мало было всех хлопот с детьми и по хозяйству. Она постоянно замышляла какое-нибудь весьма грандиозное дело. Когда мне было лет шесть-семь... Счисление я буду вести по своему возрасту, это – единственное счисление, которое применяет ребенок, Так вот, когда мне было лет шесть-семь, мама открыла детский сад (предварительно пройдя в Москве курсы фребелевского обучения). Он пошел хорошо, но дохода не давал и поглощал весь папин заработок; пришлось его закрыть. Когда мне было лет четырнадцать, куплено было имение; мама стала вводить в хозяйство всевозможные усовершенствования, все силы положила в него. Но имение стало поглощать весь папин заработок. Через три-четыре года его продали с убытком. И всегда, во всяком из маминых предприятий, было какое-то мученичество и жертвенный подвиг: работа до крайнего изнеможения, еда кое-как, недоспанные ночи, душевные муки, что вес идет в убыток, старание покрыть его сокращением собственных потребностей.

Теперь, восстанавливая все в памяти, я думаю, что эта потребность превращать работу в какое-то радостно-жертвенное мученичество лежала глубоко в маминой натуре, – там же, откуда родилось ее желание поступить в монастырь. Когда кончались трудные периоды ведения детского сада или хозяйничания в имении, перед мамой все-таки постоянно вставала, – на вид как будто сама собой, совсем против воли мамы, – какая-нибудь работа, бравшая все ее силы. Папа как-то сказал:

– Вот какая масса у нас журналов, как много в них интересных статей и рассказов. Как бы хорошо сделать им систематическую роспись, – чтоб только что понадобилось, сейчас и найдешь.

И мама многие недели работала над систематической росписью все свое свободное время. Ночь, тишина, все спят, а у книжных шкафов горит одинокая свеча, и мама с кротким усталым лицом пишет, пишет...

Помню еще, к папиным именинам мама вышивала разноцветную шерстью ковер, чтобы им завешивать зимою балконную дверь в папином кабинете: на черном фоне широкий лилово-желтый бордюр, а в середине – рассыпные разноцветные цветочки. В воспоминании моем и этот ковер остался как сплошное мученичество, к которому и мы были причастны: сколько могли, мы тоже помогали маме, вышивая по цветочку-другому.

И вместе с тем была у мамы как будто большая любовь к жизни (у папы ее совсем не было) и способность видеть в будущем все лучшее (тоже не было у папы). И еще одну мелочь ярко помню о маме: ела она удивительно вкусно. Когда мы скоромничали, а она ела постное, нам наше скоромное казалось невкусным, – с таким заражающим аппетитом она ела свои щи с грибами и черную кашу с коричневым хрустящим луком, поджаренным на постном масле.

Отношения между папой и мамой были редко-хорошие. Мы никогда не видели, чтоб они ссорились, разве только спорили иногда повышенными голосами. Думаю, – не могло все-таки совсем быть без ссор; но проходили они за нашими глазами. Центром дома был папа. Он являлся для всех высшим авторитетом, для нас – высшим судьей и карателем.

* * *

Тихая Верхне-Дворянская улица (теперь Гоголевская), одноэтажные особнячки и вокруг них сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гоняют пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаке пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются каждая у своих ворот и мычат протяжно. Внизу, в котловине – город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящим солнцем кресты колоколен. Там дома друг на друге, пыль, вонь сточных канав, болотные испарения и вечная

малярия. У нас наверху – почти полевой воздух, море садов и весной в них – сирень, гулкие раскаты соловьиных трелей и шелканий.

У папы на Верхне-Дворянской улице был свой дом, в нем я и родился. Вначале это был небольшой дом в четыре комнаты, с огромным садом. Но по мере того как росла семья, сзади к дому делались все новые и новые пристройки, под конец в доме было уже тринадцать – четырнадцать комнат. Отец был врач, притом много интересовался санитарией; но комнаты, – особенно в его пристройках, – были почему-то с низкими потолками и маленькими окнами.

Сад вначале был, как и все соседние, почти сплошь фруктовый, но папа постепенно засаживал его неплодовыми деревьями, и уже на моей памяти только там и тут стояли яблони, груши и вишни. Всё росли и ширились крепкие клены и ясени, всё больше ввысь возносились березы большой аллеи, всё гуще делались заросли сирени и желтой акации вдоль заборов. Каждый кустик в саду, каждое деревцо были нам близко знакомы; знали мы, что в мрачном углу под стеною соседней конюшни Бейера растет кустик канупера, что на кривой дорожке – нектен, а на круглой куртине – конский каштан. Да не только кусты и деревья и не только в саду. Все закоулки в саду, на дворе и на заднем дворе были близко знакомы, обгляжены до всякой щели в заборе, до всякой трещины в бревне. И были превосходнейшие места для всяких игр; под папиным балконом, например: темное, низкое помещение, где нужно было ходить нагнувшись, где сложены были садовые лопаты, грабли, носилки, цветочные горшки и где в щели меж досок ярко светило с улицы солнце, прорезывая темноту пыльно-золотыми пластинами. Много в этом подземельи было совершено злодейств, много укрывалось разбойничьих шаек, много мучений пережито пленниками. . .

* * *

Это все – для общего понимания последующего. А теперь прекращаю связный рассказ. Буду в хронологическом порядке передавать эпизоды так, как они выплывают в памяти, и не хочу разжижать их водою для того, чтобы дать связное повествование. Мне нравится, что говорит Сен-Симон: «То здание наилучшее, на которое затрачено всего менее цемента. Та машина наиболее совершенна, в которой меньше всего спаек. Та работа наиболее ценна, в которой меньше всего фраз, предназначенных исключительно для связи идей между собою».

Кажется, самое раннее из моих воспоминаний, – вкусовое. Пью с блюдечка чай с молоком, – несладкий и невкусный: я нарочно не размешал сахара. Потом наливаю из кружки остатки с пол блюдечка, – густые и сладкие. Ярко помню острое, по всему телу расходящееся наслаждение от сладкого. «Царь, наверное, всегда пьет такой чай!» И я думаю: какой счастливец царь!

* * *

Очень смутно помню старушку-немку, Анну Яковлевну. Низенькая, полная, с особенными какими-то пукольками на висках. Я ее называл Анакана.

Сажу у себя в кровати и реву. Она подходит и унимает меня:

– Ну, не плачь, не плачь; ты мой барин!

– А-на-ка-на!.. Я твой барин!

– Ты мой барин, ты мой барин!

– Я твой барин, – повторяю я, успокаиваясь и всхлипывая.

– Мой барин, мой барин... Спи!

Когда со старшим моим братишкой Мишей мы садились завтракать, Анна Яковлевна ставила перед нами тарелку с манной кашей и говорила Мише:

– Mishenka, Mishenka, iss schneller, sonst wird dieser пузырь alles aufessen!¹

* * *

В доме у нас большим почетом и уважением пользовался дедушка Викентий Михайлович; он иногда приезжал к нам в Тулу из своего имения, села Теплового. Был он вдовец, штабс-капитан в отставке, с очень длинною и совершенно седою бородою, худощавый. Он был не родной нам дедушка, а папин дядя, брат его отца. У него папа воспитывался в детстве. По отдельным, случайно вырвавшимся у отца признаниям я заключаю, что жилось ему там очень несладко; жена дедушки, Елизавета Богдановна, была с самым бешеным характером; двух родных своих сыновей, сверстников отца, баловала, моего же отца жестоко притесняла, – привязывала, в виде наказания, к ножке стола и т. п. А дедушка, сколько мог, заступался за отца, ласкал его и шептал на ухо:

– Ты не обращай внимания на эту ведьму!

Папа относился к дедушке с глубокою почтительностью и нежною благодарностью. Когда дедушка приезжал к нам, – вдруг он, а не папа, становился главным лицом и хозяином всего нашего дома. Маленький я был тогда, но и я чувствовал, Что в дом наш вместе с дедушкою входил странный, старый, умирающий мир, от которого мы уже ушли далеко вперед.

Папа, – взрослый человек, доктор, отец большой семьи, – перед тем, как ехать на практику, приходил к дедушке и почтительно говорил:

– Дядя, мне нужно ехать к больным. Вы позволите?

И дедушка разрешал:

– Поезжай, мой друг!

Вообще он держался во всем не как гость, а как глава дома, которому везде принадлежит решающее слово. Помню, как однажды он, в присутствии отца моего, жестоко и сердито распекал меня за что-то. Не могу припомнить, за что. Папа молча расхаживал по комнате, прикусив губу и не глядя на меня. И у меня в душе было убеждение, что, по папиному мнению, распекать меня было не за что, но что он не считал возможным противоречить дедушке.

Иногда из Теплового приезжала толстая и румяная экономка, Афросинья Филипповна. У нее была дочь со странным именем Католя. По почтительному отношению папы и мамы к Афросинье Филипповне мы чувствовали, что она – не просто служащая у дедушки. Но когда мы добивались узнать, кто же она такая, мы не получали ответа. Чувствовалось, что в отношениях к ней дедушки есть что-то неладное и стыдное, о чем папа с мамой, уважая и любя дедушку, не могли и не хотели рассуждать. И потом, когда дедушка умер. Теплое было продано наследниками, и Афросинья Филипповна переселилась с дочерью в Тулу, отношение к ней осталось по-прежнему родственным и теплым.

* * *

В детстве я был большой рева. Дедушка дал мне пузырек и сказал:

– Собирай слезы в этот пузырек. Когда будет полный, я тебе за него дам двадцать копеек. Двадцать копеек? Четыре палки шоколаду! Сделка выгодная, Я согласился.

Но не удалось собрать в пузырек ни одной капли. Когда приходилось плакать, я забывал о пузырьке; а случалось вспомнить, – такая досада: слезы почему-то сейчас же переставали течь.

¹ Мишенька, Мишенька, ешь поскорее, а то этот пузырь все съест! (нем.)

* * *

Кто-то меня однажды обидел, я длинно и нудно ревел. Подали обедать. Мама деловым тоном сказала:

– Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. А пообедаешь, – можешь, если хочешь, продолжать.

Я перестал и сел обедать. После обеда заревел опять. Мама удивленно спросила:

– Чего ты, Витя?

– Ты же сама сказала, что после обеда можно.

Так эта история фигурировала в семейных наших преданиях и так всегда рассказывалась. Но мне помнится, дело было иначе. После обеда братья и сестры со смехом обступили меня и стали говорить:

– Ну, Витя, теперь можно, – реви!

Мне стало обидно, что они смеются надо мною, и я заревел, а они еще пуще захохотали.

* * *

Были мы на елке у Свербеевых, папиных пациентов. Помню, была у них очень хорошенькая дочь Эва, с длинными золотыми волосами по пояс. Елка была чудесная, мы получили подарки, много конфет. Мне досталась блестящая медная складная труба, лежавшая среди стружек в белой коробке.

Когда мы одевались в передней, г-жа Свербеева спросила меня:

– Ну, что, Витя, весело тебе было?

Я подумал и ответил:

– Нет.

Еще подумал и прибавил:

– Очень было скучно.

Собственно говоря, очень было весело. Но я вдруг вспомнил один момент, когда все пили чай, а я уже напился, вышел в залу и минут пять в одиночестве сидел перед елкой. Вот в эти пять минут, правда, было скучно.

Наша немка, Минна Ивановна, была в ужасе, всю дорогу возмущалась мною, а дома сказала папе. Папа очень рассердился и сказал, что это свинство, что меня больше не нужно ни к кому отпускать на елку. А мама сказала:

– Собственно говоря, за что же бранить ребенка? Спросили его, – он сказал правду, что действительно чувствовал.

* * *

Помню в детстве отшатывающий, всю душу насквозь прохватывающий страх перед темнотой. Трусость ли это у детей – этот настороженный, стихийный страх перед темнотой? Тысячи веков дрожат в глубине этого страха, – тысячи веков дневного животного: оно ничего в темноте не видит, а кругом хищники зряче следят мерцающими глазами за каждым его движением. Разве не ужас? Дивиться можно только тому, что мы так скоро научаемся преодолевать этот ужас.

* * *

К исповеди нельзя идти, если раньше не получишь прощения у всех, кого ты мог обидеть. Перед исповедью даже мама, даже папа просили прощения у всех нас и прислуги. Меня это очень занимало, и я спрашивал маму:

– Обязательно нужно, чтобы все простили?

– Обязательно.

У меня начинали шевелиться шантажные вождения.

– А что будет, – вдруг я возьму и не прошу тебя?

Мама серьезно отвечала:

– Тогда я отложу говенье и постараюсь заслужить твое прощение.

Мне это представлялось очень лестным. А иногда я раздумывал: нельзя ли бы на этом заработать пару карамелек? Мама придет ко мне просить прощения, а я: «Дай две карамельки, тогда прошу!»

* * *

Мы причащались. Подошла к причастию молодая Дама в белом платье с большим квадратным вырезом на груди. Сестра Юля с удивлением мне прошептала:

– Витя, посмотри-ка. Зачем у нее впереди голое? Наверно, не хватило материи.

Я презрительно ответил:

– Вот глупая! Совсем не потому. А просто, чтобы легче было чесаться, когда блохи кусают.

Ничего не расстегивать. Засунул руку и чешись.

– А-а...

Всегда у нас в комнатах жили собаки, – то огромный ньюфаундленд, то моська, то левретка. И блохи были нашей всегдашнею казнью.

* * *

Сестра Юля была на полтора года моложе меня. Она догоняла меня ростом и догнала. Дедушка даже уверял, что перегнала, но я с азартом доказывал, что это неправда, что это только так кажется: у Юли в волосах гребешок, гребешок топорщит волосы, а я стриженный. Но дедушка стоял на своем.

Я родился в январе, Юля – в июле. Мне было семь лет, Юле пять. Настал июль. Юле стало шесть лет. Дедушка спросил:

– А тебе, Витя, все еще только семь?

Я опешил:

– Да.

– Смотри-ка, Юля и годами тебя начинает догонять. Скоро перегонит, станет старше.

Факт был налицо. Я долго потихоньку плакал от обиды.

* * *

Один единственный случай, когда меня выпороли. Папа одно время очень увлекался садоводством. В большом цветнике в передней части нашего сада росли самые редкие цветы. Было какое-то растение, за которым папа особенно любовно ухаживал. К великой его радости и гордости, после многих трудов, растение дало, наконец, цветы.

Однажды вечером папе и маме нужно было куда-то уехать. Папа позвал меня, подвел к цветку, показал его и сказал:

– Видишь, вот цветок? Не смей не только трогать его, а и близко не подходи. Если он сломается, мне будет очень неприятно. Понял?

– Понял.

Поздно вечером они воротились, и папа сейчас же пошел с фонарем в сад взглянуть на цветок. Цветка не было! Ничего от него не осталось, – только ямка и кучка земли.

На утро мне допрос:

– Где цветок?

– Я его пересадил.

– Как пересадил?!

– Ты же мне вчера сам велел.

И я показал, куда пересадил. Пересадил, конечно, подрезав все корни, и цветок уже завял.

Такое явное и наглое неповиновение мое, – «ведь нарочно приводил тебя к цветку, просил!» – заставило папу преодолеть его отвращение к розге, и он высек меня. Самого наказания, боли от него, я не помню. Но ясно помню, как после наказания сидел на кровати, захлебываясь слезами и ревом, охваченный ощущением огромной, чудовищной несправедливости, совершенной надо мною. Утверждаю решительно и определенно: я понял папу именно так, что он мне поручил пересадить цветок. И я очень был польщен его доверием и совершил пересадку со всюю тщательностью, на какую был способен.

* * *

Я уже говорил: мама в течение нескольких лет содержала детский сад, – совершеннейшая тогда новинка, в Туле небывалая. Мама перед тем специально ездила в Москву и прошла там курс фребелевских наук. Предприятие кончилось, как все многочисленные мамины предприятия: она с такою энергиею и добросовестностью отдалась делу, настолько все старалась завести самое лучшее, что предприятие не только не окупалось, но на него уходил и весь папин заработок. Да и домашнее хозяйство и воспитание собственных детей от этого страдали. Папа, наконец, запротестовал, и, ко времени моего поступления в гимназию, детский сад был закрыт.

Так вот, для этого сада папа в свободное время смастерил огромное сооружение аршина в два длины и полтора ширины, по которому учащиеся наглядно могли знакомиться с тем, что такое залив, остров, мыс, ущелье и т. д. В заднем левом углу поднимались высокие горы с белыми горами, среди моха тек с высоты настоящий ручеек, в зеленых долинах паслись оловянные стада, впереди слева вертикальный разрез представлял геологические пласты земли. Передняя правая сторона была занята морем из настоящей воды – с заливами, проливами, бухтами, с коралловым островом в середине; сквозь стекло спереди можно было видеть дно моря, коралловое основание острова, морские звезды на песчаном дне. Гордостью и красотою всего сооружения была огнедышащая гора в заднем углу справа, за морем. Иногда по вечерам папа устраивал настоящие извержения из нее: из кратера взрывами бил огонь, по отрогам с шипением ползли ярко-красные и зеленые огни, отражаясь в море. Это было большим праздником для детей.

Для других детей, но не для меня. Недавно мне жаловался старик-отец на своих сыновей-футболистов, возвращающихся домой с разбитыми лбами и рваною обувью: «Другим удовольствие, а мне один разрыв сердца!» Вот так тогда и мне было: другим удовольствие, а мне один разрыв сердца. Я с беспокойством спрашивал маму:

– Может от этого быть пожар?

Мама не любила испытывать судьбу.

– Наверное никогда ничего нельзя сказать. Все может быть.

Приятно слышать...

Начиналось представление. Дети глядели на огненные взрывы, цветные бенгальские огни и в восторге ахали. Я сидел на стуле сзади всех, беспокойно настожившийся, давил внутреннюю дрожь и ошупывал оттопырившиеся карманы: в одном было два куса булки, – питаться нам всем первое время после пожара, в другом – куча вырезанных из бумаги и раскрашенных мною солдатиков: если наш дом сгорит, я буду продавать на улице этих солдатиков и таким образом кормить семью. Самый для меня радостный был момент, когда извержение кончалось и нашему дому переставала грозить опасность.

* * *

Родился я преждевременно, на восьмом, кажется, месяце, и родился «в сорочке». Однако вообще был мальчишка здоровый, да и теперь на физическое здоровье пожаловаться не могу. Но однажды, – мне было тогда лет семь, – когда у нас кончились занятия в детском саду, вдруг я с пронзительным криком, без всякого повода, упал, начал биться в судорогах, потом заснул. И проспал трое суток.

Помню, как я проснулся в темноте, вышел в столовую. Уже отобедали, дети с немкою Минной Ивановной ушли гулять, в столовой сидела одна мама. Горела лампа, в окнах было темно. Я с затуманенной головой удивленно смотрел в окно и не мог понять, как же в этой черноте может кто-нибудь гулять.

* * *

Плюшкин магазин. – Мама требовала, чтобы вечером, перед тем как ложиться спать, мы не оставляли игрушек где попало, а убирали бы их. Конечно, мы постоянно забывали. Тогда мама объявила, что все неприбранные игрушки она вечером будет брать и прятать, как Плюшкин. И рассказала про гоголевского Плюшкина, как он тащил к себе все, что увидит.

Так и стала делать. Неприбранные игрушки исчезали. Иногда бывало, что мы их и не хватимся и забывали о них, иногда хватишься, да уже поздно. Раза два в год происходила торжественная разборка «Магазина Плюшкина», – мы его сокращенно называли «Плюшкин магазин». Мама отпирала шкаф, мы нетерпеливо толпились вокруг, она вынимала по одной вещи, выясняла ее владельца, и он получал ее обратно. Много тут было радостей и много неожиданностей, – обретались богатства, о которых давно уже было забыто. Старые, надоевшие игрушки становились как новые.

Жил у нас в то время на хлебником смешной толстенький бутуз, Анатолий Коренков. Мама объявила, что сегодня вечером она будет разбирать Плюшкин магазин. Мы все обрадовались, в восторге сообщали друг другу:

– Сегодня вечером – Плюшкин магазин!

Анатолий Коренков ничего про это учреждение не знал, но, видя нашу радость, и сам очень обрадовался. Выскочил в залу, стал приплясывать и щелкать пальцами:

– Сегодня вечером у нас будет Булкина лавка!

* * *

Это я давно заметил, и это было верно. Стоило заметить только раз, а потом никаких не могло быть сомнений: вещи любят дразнить человека и прятаться от него; чем их усерднее ищешь, тем они дальше запрятываются. Нужно бросить их искать. Им тогда надоест пря-

таться, – вылезут и сядут совершенно на виду, на каком-нибудь самом неожиданном месте, где уж никак их нельзя было не заметить.

Из этого выходило: потерялась вещь – поищи; не находится – перестань искать: через день-другой выскочит сама (конечно, если не попала к маме в Плюшкин магазин: ну, тогда жди разборки магазина, раньше не получишь).

* * *

Меня называли «Витя», папа выговаривал по-польски, и у него звучало «Виця»; так он всегда и в письмах ко мне писал мое имя. Ласкательно мама называла меня «Тюлька». Раз она так меня позвала, когда у нее сидела с визитом какая-то дама. Когда я ушел, дама сказала маме: – Какой ваш Тюльпанка хорошенький!

Я потом часто всем это рассказывал и притворялся, что рассказываю потому, что вот как смешно: вместо «Тюлька» – собачье имя Тюльпанка.

* * *

Мне хотелось спать, я поужинал с маленькими и лег в девять часов. А было воскресенье, и были гости. И за ужином у больших были блинчики с дынным вареньем. Ели их и Миша и Юля. Я про это узнал только утром и горько заплакал. И спрашивал Юлю:

– Вкусные были?

Юля виновато отвечала:

– Очень вкусные.

И я плакал еще горше. Потом стал рассуждать так: я вчера вечером блинчиков не ел. Миша и Юля ели. Ну и что ж? Теперь-то, утром, – не все равно? Иначе бы я себя теперь чувствовал, если бы вчера ел блинчики? Приятнее сейчас Юле? Вовсе нет. Одинаково у всех троих ничего сладкого.

И это меня утешило.

* * *

Папа лечил у доктора Ульянинского его сына Митю. Он был с Ульянинским в очень хороших отношениях.

Ульянинский даже крестил сестру мою Юлю; при серьезном взгляде родителей на религию это были не пустяки. Когда сын выздоровел, Ульянинский прислал папе в подарок очень ценный чайный сервиз. Папа отослал его обратно с письмом, что считает совершенно недопустимым брать плату за лечение детей своего товарища, а присланный подарок – та же замаскированная плата.

После этого Ульянинский стал сторониться папы, и отношения их совершенно испортились.

Папа никогда не давал ложных медицинских свидетельств. Однажды, – это было, впрочем, много позже, когда мы со старшим братом Мишей уже были студентами, – перед концом рождественских каникул к брату зашел его товарищ-студент и сказал, что хочет попросить папу дать ему свидетельство о болезни, чтоб еще недельку-другую пожить в Туле. Миша лукаво сказал:

– Что ж, пойдя; папа, кстати, сейчас принимает. Попроси его.

Тот вошел к папе, объяснил, что ему надо.

– А вы, молодой человек, чем же больны?

– Я, собственно, ничем не болен, но хотелось бы остаться еще на некоторое время в Туле.
– Так, значит, вы хотите, чтоб я, старик, дал вам фальшивое свидетельство, чтобы лгал в нем, будто вы чем-то больны, и в удостоверение своей лжи дал свою подпись...
Так его отчитал, что студент выскочил красный и потный, к большой нашей потехе.

* * *

Никогда не мог понять, что интересного в «Робинзоне Крузо». Козлики какие-то; шьет себе одежды из звериных шкур, надаивает молоко, строит дом... Интересно было только в конце, где Робинзон и Пятница сражаются с дикарями.

* * *

В конце сада, около большой аллеи, росла вишня; вся она густо была покрыта черными ягодами. Мама дала нам с Юлею корзинку и велела обобрать вишню.
– Мапочка, а можно будет некоторые есть?
– Ну, какая уж очень будет проситься в рот, ту съешьте.
Пошли. Через час приносим маме корзинку. На ее дне горсть красных ягод.
– Только-то? Где же все ягоды?
Мы сами недоумевали. И ответили сконфуженно:
– Очень уж просились в рот.

* * *

Когда мне было восемь лет, я поступил в приготовительный класс гимназии. Синяя кепка, мышино-серое пальто до пят, за плечами ранец с книгами.

Взрослые забыли и потому не знают, с какими опасностями сопряжено путешествие по мирным улицам города для маловозрастных людей. Чтобы благополучно ходить по улицам, от маленького человека требуется сила, смелость, ловкость, находчивость, – качества, которые когда-то требовались от всех людей; теперь они, к счастью, все еще требуются, по крайней мере от людей маловозрастных. Горе на улице и в школе маменькиным сынкам, для которых единственной защитой служит их благонравие и вера в то, что все обязаны вести себя прилично!

Каждое утро, когда я шел в гимназию, на Верхне-Дворянской улице, около извозчичьей биржи, мне встречался мальчишка из уездного училища. Он бросался на меня и начинал лупить. За что? Не знаю. Никогда я ничем его не задел, ничем не обидел. В первый раз, когда он напал на меня, я больше всего был потрясен не столько даже самим нападением, сколько отношением к нему всех кругом. Я испуганно тарашил глаза и втягивал голову в плечи, мальчишка бил меня кулаком по шее, а извозчики, – такие почтительные и славные, когда я ехал на них с папой или мамой, – теперь грубо хохотали, а парень с дровами свистел и кричал:

– Бей! Так его! Покрепче!.. Ха-ха-ха!

Постоянно мы встречались, и постоянно он меня лупил и с каждым разом распался все большею на меня злобою; должно быть, именно моя беззащитность распалая его. Дома ужасались и не знали, что делать. Когда было можно, отвозили нас в гимназию на лошади, но лошадь постоянно была нужна папе. А между тем дело дошло уже вот до чего. Раз мой враг полез было на меня, но его отпугнул проходивший мимо большой, гимназист. Мальчишка отбежал на улицу и крикнул мне:

– Ну, брат, счастье твое! А то бы я тебя угостил!

И вытянул из рукава руку, – в ней был раскрытый перочинный нож.

Мама, как узнала, пришла в ужас: да что же это! Ведь этак и убить могут ребенка или изуродовать на всю жизнь! Мне было приказано ходить в гимназию с двоюродным моим братом Генею, который в то время жил у нас. Он был уже во втором классе гимназии. Если почему-нибудь ему нельзя было идти со мной, то до Киевской улицы (она врагу моему уже была не по дороге) меня провожал дворник. Мальчишка издали следил за мною ненавидящими глазами, – как меня тяготила и удивляла эта ненависть! – но не подходил.

Раз идем мы с Генею. Нам навстречу этот мальчишка, а с ним другой, побольше, длинноносый и рыжий. Мой враг что-то шепнул своему спутнику. Поровнялись. Вдруг рыжий изо всей силы толкнул Геню плечом.

– Ты что?

– А ты что?

– В морду захотел?

– Попробуй!

Сжимая кулаки, они стояли друг против друга в напряженной позе петухов и слегка подталкивали друг друга плечом. Геня свистнул рыжего в ухо. Начался мордобой. Мой враг бросился на меня. Геня крикнул:

– Бей его, Витя! Чего боишься? В морду!

Я сунул его кулаком в морду, перешел в наступление и стал теснить. Испуг и изумление были на его красивом круглом лице с черными бровями, а я наскокивал, бил его кулаком по лицу, попал в нос. Брызнула кровь. Он прижал ладони к носу и побежал. Пробежал мимо и рыжий, а Геня вдогонку накладывал ему в шею...

Позор, позор! Целых полгода враг мой лупил и гонял меня, а я, оказывается, был и сильнее и ловчее его!..

* * *

В приготовительном же классе. Рядом со мною сидел на парте рыжий и крупный немчик Ган, добродушный и покорный, с которым можно было делать что угодно. Я написал на его транспаранте:

Сей транспарант принадлежит
И сам не убежит;
Кто возьмет его без спросу,
Тот останется без носу;
А кто возьмет его с спросом,
Тот будет с пузом.

Это я так переделал обычную у школьников надпись на книгах:

Эта книга принадлежит
И сама не убежит,
Кто возьмет ее без спросу,
Тот останется без носу.

Транспарант увидел у Гана наш классный наставник, Петр Степанович Глаголев.

– Это ты написал?

Ган ухмыльнулся широко и глупо.

– Нет. Это мне написал Смидович.

– Смидович! Это что такое? В угол!

Я обомлел. Я был первый ученик, поведения примерного, никогда наказаниям не подвергался; Петр Степанович ко мне благоволил, к тому же, кажется, он был папиным пациентом.

– Что ты стоишь? Сейчас же в угол!

Я заревел благим матом:

– Ай, нет, не пойду!

Петр Степанович сердился и смеялся, приказывал, но я заливался слезами и не шел. Так и не пошел.

Меня «оставили» на час в гимназии. За что? До сих пор не могу понять. А транспарант послали с Генею папе. Голодный, одинокий и потрясенный, я просидел час в пыльном классе и ревел все время, не переставая, изошел слезами.

Дома был разговор с папой.

– Скажи, пожалуйста, что ты, собственно, хотел этим сказать? «Тот будет с пузом». Какая пошлость! Да неужели ты находишь это остроумным?.. И написал-то еще на чужой вещи, не своей!

Назавтра в гимназии, на перемене, Петр Степанович подсел ко мне, обнял за плечи и лукаво спросил потихоньку:

– Что, брат, здорово тебя вчера выпороли?

Меня удивил вопрос, и вдруг я почувствовал, что Петр Степанович живет в каком-то совсем другом, чуждом мире, жестоком и грубом; и его лицо показалось мне вульгарным и непочтенным. Я ответил:

– Папа нас никогда не порет.

Он засмеялся и махнул рукою, – меня, мол, не проведешь. И, наверное, он уж совсем бы мне не поверил, если бы я ему сказал, что предпочел бы порку вчерашнему объяснению с отцом.

* * *

Что из всего чтения произвело на меня самое сильное впечатление в детстве: сказка в стихах «про воробья, который делал в жизни все, что мог». Она была напечатана в детском журнале «Семья и школа» (мы получали этот журнал). Молодой воробей услышал, как поет соловей, как все ям восхищаются, потом увидел красавца-павлина, – тоже всех приводил в восторг. Грустный прилетает воробей домой и жалуется матери: нет у него ни голоса хорошего, ни красоты, ни для кого он не привлекателен. Мать ему отвечает, что внешние дары – не в нашей власти, но что всякий может, если хочет, делать окружающим добро, и тогда все будут его любить. И вот: сидит в чердачной своей комнате швея, грустно задумалась о своей жизни и плачет. Молодой воробей сел на подоконник, стал весело чирикать. Швея взглянула, улыбнулась сквозь слезы, утерла глаза, стала слушать и забыла о своем горе. Так молодой воробей и начал жить и везде, где только мог, делал всем добро: выкармливал выпавших из гнезда птенцов, носил еду больным птицам, пел песни обездоленным.

Но увы! однажды съел он
Ядовитое зерно.

И умер. И вот его хоронят. Все птицы идут за гробом. И сам соловей, – гордый, великолепный соловей, – говорит над его могилою речь: умерший не выделялся красотой, не было у него звонкого голоса, но он был лучше и достойнее всех нас, у него было то, что дороже и красоты и всяких талантов:

Он был добр, он был полезен,

Делал в жизни все, что мог...

Сколько раз я эту сказку ни перечитывал, и каждый раз, при описании похорон и речи соловья, истекал, захлебывался слезами. И когда больно бывало от чего-нибудь самолюбия, когда чувствовал я себя серым и никому не интересным, у меня вставала мысль: этой возможности, какая была у воробья, никто не сможет отнять и у меня.

* * *

Когда буду идти из гимназии, мама сказала, – зайти в библиотеку, внести плату за чтение. Я внес, получил сдачу с рубля и соблазнился: зашел в магазин Юдина и купил пятачковую палочку шоколада. Отдаю маме сдачу.

– Пяти копеек не хватает.

Я сказал беспомощным тоном ребенка, которого немудрено обсчитать:

– Я не знаю, мне столько дали.

Мама сомнительно покачала головою, но ничего не сказала.

Мне было стыдно, После обеда я попросил у мамы работы в саду. Кому из нас очень нужны бывали деньги, тот мог получить у мамы работу в саду или на дворе. Но работа, по нашим силам, была не пустяковая, а оплата не бог весть какая щедрая, поэтому мы брались за такую работу при очень уж большой нужде в деньгах. Мама поручила мне (за пятак) очистить от травы и сучков площадку под большой лапой. Я проработал часа четыре, вспотел порядком. Когда пришлось получать плату, я сознался маме, что утром проел пятак на шоколад и что пусть она зачтет мою плату за этот пятак. Я ждал, что мама придет в умиление от моего благородства, горячо расцелует меня и возвратит заработанный пятак. И, должно быть, лицо мое неудержимо сияло скромною гордостью. Но мама только сказала, сдержанно и печально:

– Пожалуйста, больше никогда так не делай.

* * *

Директором гимназии нашей был Александр Григорьевич Новоселов. Небольшого роста, с седыми бачками, с крючковатым носом, в золотые очки смотрят злобные глазки. В нас, мальчиках, он вызывал панический ужас, и для меня он являлся олицетворением грозного, взыскательного и беспощадного начальства.

Раз за обедом папа рассказывал маме:

– ... директор Новоселов, Александр Григорьевич, входит в кондитерскую Вальтера, споткнулся – и вдруг растянулся на пороге...

У меня разгорелись глаза, я с одушевлением спросил:

– Нарочно?!

Папа в изумлении замолчал, с безнадежностью оглядел меня и тяжело вздохнул.

– Виця! Ну, что ты такое говоришь! Подумай хоть немножко! Директор гимназии – и нарочно растянулся на пороге!

Я сконфузился. Но мне вдруг таким человечным, таким близким показался было этот злобный старичок, способный выкинуть такую чудесную штуку!

* * *

К троице нужно было убрать сад: граблями сгрести с травы прошлогодние листья и сучья, подмести дорожки, посыпать их песком. Наняли поденщика, – старый старик в лаптях, с длин-

ной бородой, со старчески-светящимся лицом. Мама, когда его нанимала, усомнилась, – сможет ли он хорошо работать. И старик старался изо всех сил. Но на побледневшем лице часто замечалось изнеможение, он не мог его скрыть, и беззубый рот устало полуоткрывался.

Мама расспрашивала старика про его жизнь. Деревня их за восемьдесят верст от Тулы, хозяйство ведет его сын. Старик мечтал, как купит на заработанные деньги гостинчиков для внучки, – башмаки и баранок, и сокрушался, что не успеет домой к празднику: в субботу кончит работу, а до дому идти два дня, – больше сорока верст в день не пройти. Мне странно было слышать, что можно в качестве гостинчиков приносить такие скучные вещи, как башмаки и баранки, и еще страннее, – что он такую дальнюю дорогу сделает пешком, – такой старик!

Он шамкал ртом, и глаза его светились мягкой радостью, когда он говорил о внучке.

Мама вечером вдруг сказала:

– Хотите, дети, отпустим старика домой завтра, в четверг, чтоб он успел домой к воскресенью? Заплатим ему, что он заработал бы до воскресенья, а вы за него уберете сад.

Мы с восторгом согласились, – очень уж радостно было себе представить, как это будет приятно старику. И еще радостнее и умиленнее стало назавтра, когда мама подошла к работавшему старику, отдала ему деньги до воскресенья и сказала, что он может отправляться домой. Старик сначала не разобрал, голова его задрожала, – он Понял, что ему отказывают от работы. Мама ему показала Деньги, что заплачено до воскресенья, а что сад за него уберем мы. И помню я, как он упал на колени, и седая борода его тряслась, и как мама, взволнованная, с блестящими глазами, необычно быстро шла по дорожке к дому.

Мы три дня с одушевлением работали и убрали-таки сад к празднику, – старший мой брат Миша, я, двоюродный брат Геня, и помогала сестра Юля.

С этим воспоминанием связано у меня а другое, – о столкновении во время этой работы с Генею. Не помню, из-за чего мы поссорились. Ярко помню только: стою на дворе с железным заступом в руках около песочной кучи, тачка моя наполнена песком, рядом Генина тачка. Я воплю неистово, иступленно, и в голове моей мелькает:

«Он довел меня до бешенства, я теперь не могу отвечать за себя. И теперь я не виноват, если сделаю что-нибудь ужасное!»

Этакий таракан! Был я тогда пригитовишкой, а идею о невменяемости усвоил уже недурно!.. И я изо всей силы ударяю Геню железным заступом по ноге. Не могу вспомнить, что было дальше и чем кончилось.

* * *

Майские жуки приносят большой вред растительности. Их личинки обгрызают под землей нежные мочки корней трав и кустов... И так дальше.

Весна. Березы только что развернули узорные, весело-зеленые листочки. Майские жуки с деловитым жужжанием носятся вокруг берез, а мы внизу суетимся, – потные, задыхающиеся, с вылезавшими на лоб глазами.

Подпрыгнул, махнул кепкой, – уп! И сел на корточки и прижимаешь кепку к земле, осторожно заглядываешь в нее: там! есть! Ошалело сидит и удивленно перебирает ланками. Берешь, – на дорожку, – подошвой: хрясть! Белое молоко, в нем мелкие черные пластинки. В душе – гадливая дрожь от совершенного убийства. Но уж опять смотришь вверх. Из соседнего сада пулею летит огромный жук, – зумм... И мимо берез к ясеням, в середину сада. Мчишься следом, – он пропал за елкой. Смотришь во все стороны, – нету. А он бесшумно вьется около березовой ветки, совсем низко, Готово! В кепке! Возьмешь в руку, рассматриваешь. Он неподвижно сидит, потом приходит в себя: начинает по-особенному пыхтеть, – накачивается воздухом. Сейчас полетит. Как серьезен! И как красив! Но нельзя отпустить. И казнишь под подошвой за его вредную для мира деятельность.

Приходили мы к ужину усталые, потные, но удовлетворенные сознанием добросовестно исполненного гражданского долга. Никогда впоследствии ничто не наполняло меня такою гордостью за совершенное мною полезное дело, как эта борьба с майскими жуками.

* * *

Мой старший брат Миша играть не любил. Он больше интересовался лошадьми и все свободное время проводил в конюшне с кучером Тарасычем. Играл я обычно с сестрою Юлею, моложе меня на полтора года. Вот как мы с нею играли.

У папы была большая электрическая машина для лечения больных: огромный ясеневый комод, на верхней его крышке, под стеклом, блестящие медные ручки, шишечки, стрелки, циферблаты, молоточки; внутри же комода, на полках, – ряды стеклянных сосудов необыкновенного вида; они были соединены между собою спиральными проволоками, обросли как будто белым инеем, а внутри темнели синью медного купороса. Мы знали, что эти банки «накачивают электричество».

Содержанием наших с Юлею игр были разнообразные приключения индейского характера (я тогда жадно поглощал романы Майн-Рида, Густава Эмара и Купера), но началом приключений, исходною их точкою, всегда являлось одно и то же. Мы с Юлею, – брат и сестра, – рабы, заключены в мрачном подземелье и работаем на какого-то «доктора». В конце нашего сада была большая площадка, а на ней – «гимнастика»: два высоких столба с поперечною балкою; в середине – вертикальная лестница наверх, по бокам – висячие шесты для лазания, узловатая веревка, трапеция. Мы с Юлею, изможденные непосильным трудом, обливаясь потом, медленно двигаем висящие на крюках шесты и этим «накачиваем электричество» наверх, доктору. От времени до времени, по вызову доктора, я взлезаю к нему по лестнице наверх; он ругает меня, бьет бичом по голым плечам и прогоняет назад в подземелье. Терпеть такую жизнь было свыше сил человеческих. Мы подпиливали зазубренною шпилькою решетку на окне или вырывали ногтями подземный ход длиною сажени в две и убегали из подземелья. И тогда начинались разнообразнейшие приключения. Я намечал общий план, а потом уж каждый из нас импровизировал, что хотел.

Однажды, после многих приключений в разных концах сада, мы с сестрой Арабеллой попали в плен к индейцам (я был Артур, Юля – Арабелла). Индейцы связали нас, созвали военный совет и решили завтра утром нас казнить, а сами устроили пир и с радости перепились. Дело происходило в большой беседке, в конце сада: это был настоящий дощатый домик, выкрашенный в зеленую краску, с железною крышею, с тремя окнами и дверью. Когда индейцы заснули, я решил освободиться. Перегрызть зубами веревку, прикреплявшую меня к кольцу, подкатиться к костру и на его углях пережечь ремни, стягивавшие мне локти, было для меня делом одной минуты. Я вскочил на ноги и освободил сестру. Выбрал себе пару самых лучших карабинов, засунул за пояс нож и, сдвинув тонкие брови, взял в руки томагавк. Сестра побледнела, как полотно.

– Брат! Что хочешь ты делать? – спросила она трепещущим голосом.

– Убить их всех! – твердо отвечал я.

– Брат, не убивай! – кротко молила Арабелла. – Помни, мы – христиане! Иисус Христос сказал: «Любите врагов ваших!»

Я сардонически улыбнулся.

– Сестра! Ты не понимаешь, чего ты просишь: они проснутся и догонят нас.

– Они пьяны, спят крепко, и когда проснутся, мы будем уже далеко.

Я, Витя, в душе весело засмеялся: мне представилась великолепнейшая комбинация, которую я разовью из создавшегося положения. Но ни один мускул не дрогнул на моем лице. Я, Артур, зловещим голосом проговорил:

– Сестра, будь по-твоему. Но, если что случится, да падет моя кровь на твою голову!
Мы осторожно вылезли в окошко и с быстротой змеи, устремляющейся на добычу, пустились бежать в девственный лес.

Бежали всю ночь и весь день. К вечеру сделали привал на ступеньках папиного балкона. Стали жарить на костре убитую мною серну. Вдруг я насторожился, как антилопа, почуявшая запах льва.

– Сестра! Ты слышишь конский топот?

– Нет.

Я припал ухом к земле, потом поднялся, приложил палец к губам и, как ящерица, бесшумно скользнул в кусты. Раздвинул ветки жасмина – и остановился, как вкопанный. Взгляд мой окаменел от ужаса: по равнине, вдогонку за нами, мчалось тридцать тысяч краснокожих всадников.

Я подбежал к сестре и, задыхаясь, крикнул:

– Скорей! Погоня! Бежим!

Мы бегом обогнули выступ дома, черную бочку с дождевой водой, вдоль стены конюшни побежали к большой липе. Вдруг враги заметили нас и устремились вдогонку.

Залегши в непроходимых бамбуковых зарослях, около грядки с луком, я на выбор бил из своих штуцеров по краснокожим, а сестра заряжала и подавала мне. Тысячи три трупов уже устилали равнину. Враги направляли в нас тучи стрел и, испуская кровавадные крики, делали вид, что собираются броситься на нас. Но этим они прикрывали адский замысел, которого я – увы! – не разгадал. Пятьсот отборных воинов с гибкостью пантеры пробрались к нам в тыл, к скамейке под большой липой, и с диким воем бросились на нас сзади. И со всех сторон устремились враги. Я бился прикладом, индейцы грудami валились с размозженными головами. Но, наконец, побежденный численностью, весь израненный, я упал. Как стая коршунов, дикари устремились на меня, связали и отвели с сестрою в ту же беседку, из которой мы сутки назад убежали.

И вот – начали меня истязать. Все изощреннейшие пытки, какие только описаны у Майн-Рида и Густава Эмара, были применены ко мне: мне вырезывали из кожи ремни, жгли подошвы углями, выковыривали гвоздями глаза. Я глухо стонал и говорил:

– Так вот, сестра, что такое твой христианский бог! Он приказывает шадить врагов для того, чтоб они потом могли предавать таким адским мучениям твоих братьев?.. Спасибо тебе, сестра!.. Оо-о!.. Если бы я тебя тогда не послушался, мы были бы теперь свободны, были бы на родине... Оооооо!..

И сестра, – уже не фантастическая сестра Арабелла, а настоящая сестра Юля, – заливалась самыми настоящими слезами, и это мне еще больше поддавало жару.

Индейцы взрезали мне живот и стали наматывать мои кишки на колесо, усеянное острьями. При такой пытке человек испытывает ужаснейшие страдания, а между тем непрерывно хохочет душу раздирающим хохотом, потому что в человеке есть такая смеятельная кишка, и если за нее тянуть, то человек смеется, хочет – не хочет.

И я, корчась, хохотал ужасным смехом, а в промежутках между смехом стонал и говорил:

– Теперь, сестра, я хорошо запомню, что такое твой христианский бог... Хха-хха-хха!.. Проклятие тебе! Да падет моя кровь на твою голову! Хха-хха-хха-хха-хха-хха-хха!..

И я хохотал леденящим кровь смехом, а Юля истекала самыми подлинными слезами.

* * *

Некоторые свои знания я приобретал совершенно неизвестно откуда, – вернее всего, черпал из собственного воображения. Однако они почему-то очень прочно сидели в памяти, и я

глубоко был убежден в их правильности. Так было, например, со смеятельной кишкой. Помню еще такой случай.

У сестренки Мани было расстройство желудка, после обеда ей не дали яблока. Она очень была недовольна. Надулась и ворчала:

– Ну, ведь все равно, уж есть понос. Какая, же разница? Ну, съем яблоко, – понос был и останется, больше ничего.

Я важно стал ей объяснять:

– Как ты не понимаешь? Ты думаешь, он так на одном месте и остановится? Он будет идти все дальше и дальше, – в руки, в ноги, в голову. Порежешь руку, и из нее потечет понос; начнешь сморкаться, – в носовом платке понос.

Маня широко раскрыла глаза и замолчала. Это ее вполне убедило. Папа еще сидел за столом и дочитывал «Русские ведомости». Он вслушался в мои объяснения и изумленно опустил газету.

– Виця! Что ты за вздор такой городишь?

– Как? Нет, правда!

– Правда?

Папа в безнадежном отчаянии махнул рукою, молча встал и вышел.

* * *

Часто мы делали друг с другом так. Одной рукою за горло, другая заносит над грудью невидимый кинжал.

– Проси прощады!

– Прошу прощады!

– Нет!

И кинжал вонзался в грудь.

Вообще, вспоминая детство, удивляюсь: как мало все эти игральные свирепства грязнили душу, как совершенно не претворялись в жизнь.

* * *

Сербское восстание и русско-турецкую войну я помню ясно, – я тогда был в первом и втором классах гимназии. Телеграммы: «Русские войска переправились через Дунай», «перешли Балканы», «Плевна взята». Ур-ра-а-а!.. Восторг, кепки летят вверх. Молебен, и распускают по домам.

Какие мы молодцы! Весь мир на нас удивляется. Русские, как львы, идут вперед, ничего не может их остановить – ни реки, ни горы, ни снега! И все иностранные страны со страхом и завистью смотрят. «Кто разрешит восточный вопрос?» На бумажке четыре портрета – английской королевы Виктории, германского императора Вильгельма I, австрийского – Франца-Иосифа и турецкого султана Абдул-Гамида. Сложить бумажку по пунктирам, – и – из лба Виктории, подбородка Абдул-Гамида, бакенбард Франца-Иосифа и затылка Вильгельма вдруг получается – портрет нашего царя Александра Второго... Замечательно! Сам, значит, бог заранее решил!

Немцы и австрийцы очень нам завидуют, всячески стараются мешать нам и помогать туркам. Только мы их не боимся.

Шли как-то немец с турком,
Зашли они в кабак.
Один тут сел на лавку,

Другой курил табак.
А немец по-немецки,
А турок по-турецки.
А немец-то: «а-ля-ля!»
А турок-то: «а-ла-ла!»
Но русский, всех сильнее,
Дал турку тумака,
А немец похитрее, –
Удрал из кабака.

Вот мы какие молодцы! Так мы войну и кончим, – придется немцу с конфузом удирать. Только вот горе, – я просто в отчаяние приходил: всех турок перебьют! Когда вырасту большой, – мне ничего не останется!

Герой. – Это был настоящий, самый несомненный герой с георгиевским крестом. Был на турецкой войне, брал Плевну. Он к нам поступил дворником. Григорий. Строгое, надменное лицо, презрительные глаза. Говорил с нами, мальцами, как будто большую нам честь делал. Любимое его присловье было:

– Дам четыре раза по шее, – жизнью пожертвую!

Когда его спрашивали:

– Верно?

Он с шиком отвечал:

– Нет, не верно, а вероятно, справедливо, окончательно и даже натурально!

Я жадно расспрашивал его про войну. Как вы ходили в штыковые атаки? Скакал перед вами Скобелев на белом коне? У меня был листок с отпечатанным портретом Скобелева, и под ним длинные стихи, – начинались так:

Кто скачет, кто мчится на белом коне
Навстречу свистящих гранат?
Стоит невредимым кто в адском огне
Без брони, без шлема, без лат?
Кто в кителе белом, с крестом на груди,
Мишенью врагам нашим служит?..

И еще я спрашивал: было у вас, что нашего солдата отрезали турки от своих, а он проложил себе назад дорогу прикладом сквозь три батальона турок? Сколько турок ты посадил на штык?

А Григорий вместо этого рассказывал такие вещи:

– Пришли мы в место одно, называется Казанлык. Там масло делают розовое, – до чего же духовитое! Цены ему нету. Сто рублей капля одна! Чтобы каплю одну такую добыть, нужно, может, целую десятину роз уничтожить. Вот пришел нам приказ уходить... Что с этим маслом делать? Брали помазком да сапоги себе мазали.

Я ахнул:

– Сапоги?!

– Что же с ним делать? Не им же оставлять!

– Отчего же не оставить? Ведь они невооруженные, наверно, были.

– Нешто можно!

Я не мог понять, почему было нельзя. Настоящий герой, мне казалось, не стал бы этого делать. Или еще:

– Девки турецкие и бабы ходят закрывши лицо, – вроде как бы занавеска висит с головы, только глаза в щелку глядят, да нос оттопыривается. Ну, конечно, подойдешь, подынешь занавеску у ней, поглядишь. И, конечно, вообще...

– Что вообще?

– Вообще, значит... Ну, как сказать? Понятное дело. Как говорится, – натурально!

Мне было непонятно, но чуялась под этим какая-то большая гадость. И я задумывался иногда: да правда ли он герой?

Случился пожар на Верхне-Дворянской, наискосок от нас, в мелочной лавке Огорокова. Лавка стояла отдельным домиком. Когда, я прибежал, она вся пылала. Толпился народ. Толстый лавочник кубарем вертелся вокруг пылающей лавки и только повторял рыдающим голосом, хватаясь за голову:

– Укладочку, укладочку мне вытащить, ах, ты, боже мой! В задней горнице стоит под кроватью!.. Господи, г-господи! Пустите же меня!..

Бабы выли и держали его за полы, чтоб он не бросился в огонь. Быстро вышел вперед наш Григорий. Глаза горели особенным лихим блеском.

– Где, говоришь, укладочка?

Через разметанный забор подошли к задней двери лавчонки, она была заперта изнутри. В окно лавочник стал показывать и объяснять, где стоит укладка. Густой сизый дым в комнате окрашивался из горящей лавки дрожащими огненными отсветами.

Вдруг Григорий вышиб кулаком оконце, закрыл глаза ладонью и, головой вперед, бросился через окно в комнату. Все замерли. В дыму ничего не было видно, только шипело и трещало пламя. Из дыма вылетел наружу оранжевый сундучок, обитый жестью, а вслед за ним показалась задыхающаяся голова Григория с выпученными глазами; он высунулся из окна и кулем вывалился наружу. Сейчас же вскочил, отбежал и жадно стал дышать чистым воздухом.

Я был в бешеном восхищении от его подвига. Дома, когда он воротился, все окружили его, любовно смотрели, восторгались. А он встряхивал волосами и хвастливо передавал подробности.

Лавочник дал ему десять рублей и вечером повел в трактир. А в десятом часу прибежала к нам наверх горничная Параша и испуганно сообщила, что Григорий пришел пьяный-распьянный, старик-кучер Тарасыч спрятался от него на сеновал, а он бьет кухарку Татьяну. Помню окровавленное, рыдающее лицо Татьяны и свирепо выпученные глаза Григория, его страшные ругательства, двух городских, крутящих ему назад руки.

Григория рассчитали. Жизнь в настоящем виде прошла передо мною. И в первый раз мне пришла в голову мысль, которая потом часто передо мною вставала. «Герой», храбрец... Такая ли уже это первосортная добродетели? И так ли уж она сама по себе возвышает человека?

* * *

Двенадцать часов. Далеко, на оружейном заводе, протяжный, могучий, на весь город гудок, сейчас же вслед за ним звонок у нас по коридорам. Большая перемена. Несемся по узорным ступеням чугунных лестниц вниз, на просторный гимназический двор. Наскоро прожужеешь завтрак – и на сшибалку. Это длинное отесанное бревно, укрепленное горизонтально на двух столбах, на высоте с аршин над землю. Две партии. Передние в каждой партии стоят посреди бревна, раздвинув ноги как можно шире. За их спиной густо теснятся один за другим остальные. Нужно сшибить противника с бревна; когда он слетит, стараешься продвинуться ногой вперед сколько успеешь, – тот, кто стоял за слетевшим, тоже спешит захватить побольше места. Строго запрещается давать подножки и на лету хвататься за противника, чтобы его стащить с собою. Побеждает та партия, которая до конца займет вражескую половину бревна.

В борьбе много самых разнообразных приемов, более слабый легко может сшибить более сильного. Можно даже сшибить самым легким прикосновением руки: сильно размахнешься правой рукой, – противник машинально подается телом навстречу удару, но удара ты не наносишь, а левой рукой с противоположной стороны чуть его толкнешь – и он слетает.

Ужасно интересно. Вот против нас – силач Тимофеев, первый боец сшибалки. Молчаливый, с нависшим на глаза лбом и тупым лицом. Бараньими глазами он смотрит прямо вперед, и от каждого его удара наотмашь слетает противник, и он продвигается все вперед. Я, волнуясь, жду своей очереди, – у меня есть против Тимофеева свой прием. Вот слетел стоявший передо мною, я спешу раскорячиться и занять побольше места. На меня надвигается Тимофеев, размахнулся чугунного ладонью, я моментально пригибаюсь к самому столбу, удар проносится по воздуху, Тимофеев теряет равновесие и слетает наземь, а я, под «ура» товарищей, продвигаюсь вперед. Дальше идет мелкота, мы снова отвоевываем забранное Тимофеевым пространство. Вот опять надвинулась сзади очередь Тимофеева. Он не разнообразен на приемы. Прямо глядя тупыми глазами, он еще сильнее бьет меня наотмашь, – я откидываюсь назад, и он опять слетает. Один я, ни разу не слетев, под «ура» товарищей, завоевываю всю сшибалку до самого конца. Потом, дома, с упоением всем рассказываю про свою победу. И странно и обидно, – никто хорошенько не чувствует, как это важно и великолепно. Ведь против меня сам Тимофеев был, и я его два раза сшиб!

Хорошая игра. И полезная. Бывали, конечно, несчастные случаи: мальчик падал на бревно спиной или низом живота, расшибался. Но это бывало от подножек или вообще от неправильной игры. Зато игра эта вырабатывала большую устойчивость и крепость в ногах, умение удержаться на них в самых трудных положениях. Не раз впоследствии – при гололедице или просто, когда оступишься, – удавалось не упасть при таких положениях, где иначе обязательно расшиб бы себе затылок или сломал ногу. И каждый раз добром помянешь сшибалку и скажешь: это только благодаря ей!

Мы очень ею увлекались. Занята сшибалка большими, нас не пускают, – сшибаемся просто на земле, воображая себе полосу бревна. Идем из гимназии по улице, увидим, лежит бревно, – сейчас же сшибаться, пока не стонит дворник. Совсем как теперь с футболом.

* * *

В детстве фантазия у меня была самая необузданная. Действительность давала толчок, – и в направлении этого толчка фантазия начинала работать так, что я уже не отличал, где правда и где выдумка; мучился выдумкою, радовался, негодовал, как будто это все уже случилось взаправду. Раз шел из гимназии и вдруг представил себе: что, если бы силач нашего класса, Тимофеев, вдруг ущемил бы мне нос меж пальцев и так стал бы водить по классу, на потеху товарищам? И всю дорогу домой я страдал, как будто это правда случилось, и искал, и не находил путей, как бы отомстить обидчику.

Ко всякому действию, ко всякой работе спешила прицепиться фантазия и пыталась превратить их в завлекательную игру. Например, есть ложкою клюквенный кисель. Это была история тяжелой и героической борьбы кучки русских с огромной армией турок. Русские (ложка) врезаются в самую гущу турок, пробиваются до другого конца, – но сейчас же за их спиной враги смыкаются. Русские повернули опять в самую гущу. Долго тянется бой. Все жиже становится красная гуща врагов, все ленивее смыкается за кучкой героев. Наконец силы ее истощились. Русские проносятся из конца в конец, – за ними остаются широкие белые полосы, и они уже не смыкаются. И уже русские шарят по всей долине, и захватывают, и беспощадно уничтожают жалкие остатки турок...

– Ура! Победа!

Взрослые удивленно смотрят, – передо мною только пустая тарелка из-под клюквенного киселя.

– Чего это ты, Витя?

– Всех турок победил! С маленькой горстью русских!

И я с торжеством показываю свою ложку.

– А, чтоб тебя бог любил!

Это любимая мамина поговорка. Мама смеется и машет рукою: она привыкла к моим фантазиям.

Или вот. Учить наизусть латинские исключения. Это была интереснейшая игра.

Очень много слов на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis.
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis,
Fascis, axis, funis, ensis,
Fustis, veciis, vermis, rnerisis,
Poslis, tollis, cucumis,
Cassis, callis, col lis,
Sentis, caulis, pollis.

– Воины! За мной!

Страшная, неприступная крепость. Враги валят на нас со стен камни, льют кипяток, расплавленную смолу, мечут копья, осыпают стрелами. Мы, закрывшись щитами ползем по обрывистым скалам, приставляем к отвесным стенам лестницы...

Panis, piscis, crinis, finis...

Молодцы! Уже взлезли на стену!

Ignis...

А дальше как? Дальше, дальше как?

...cinis,
...canalis,
...annalis...

Валятся, валятся! Сколько перебито! И никто дальше не подходит на помощь. А тех, кто уж наверху, враги теснят, напирают на них, сбрасывают щитами в пропасть. Полный разгром! Жалкие остатки отрядов собираются ко мне...

– Вар, Вар! Отдай мне назад мои легионы!

Формирую новую армию, стараюсь ее вооружить покрепче: ignis, lapis – lapis – lapis, pulvis – pulvis, cinis!

– Воины! Вперед! Отомстим за наш позор!

Первые ряды дружно преодолевают все препятствия, вот они уже на зубцах стен. Бегут ряд за рядом...

Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis...

Вдруг заколебались подходящие ряды. Сверху призывные крики:

– Скорее! На помощь!

Как? Как там?.. Fascis... Fascis... А дальше? А дальше как? Господи!

Поддержки нет. Бешено бьются на стене герои, окруженные полчищами врагов. Но иссякают силы. И вот мы видим: вниз головами воины летят в пропасть, катятся со стенами по острым выступам, разбитые доспехи покрыты кровью и пылью... О позор, позор!

Я лихорадочно шагаю по большой аллее, готовлю легионы к новому приступу. Вот особенно эта когорта ненадежна. Fascis, axis – axis – axis... Funis, ensis... Funis, ensis...

И опять в бой. Правы оказались мои опасения. Не выдержала ненадежная когорта: на ней враги разрезали нашу армию пополам и отбросили от крепости.

И опять и опять обучение войска. И наконец – торжество! Нигде не поколебались, ни одного шага никто не сделал назад. Ура! Ура! – несется по всему саду. Крепость взята.

– Ур-ра-а-а-а-а-а!!!

– Витя, что ты кричишь! Папа спит!

Потише:

– Ура-а-а-а!

Не надо терять времени. Побольше забрать крепостей, пока враги еще не пришли в себя. Подходим к следующей:

Panis, piscis, crinis, finis...
Ignis, lapis, pubis, cinis...

Стройными рядами, блестя шлемами и щитами, устремляются на крепость мои грозные когорты. Нигде никакого замешательства. Крепость взята одним ударом! До вечернего чая мною завоевано десять крепостей, – и выучен трудный, огромный урок, беспощадно заданный учителем латинского языка, грозным Осипом Антоновичем Петрученко.

Завтра утром иду в гимназию. Опять веду своих ветеранов на приступ вражеской крепости. И вдруг – о ужас! – опять подвела та же самая когорта! Опять осаждающую нашу армию разрезали пополам и отбросили! Glis, annalis... А дальше как? Пустое место!

Сажусь на уличную тумбу, снимаю ранец, вынимаю толстенького Кюнера. Ах, да: Fascis, axis, funis, ensisl...

– Fascis, axis, funis, funis...

Завоевывается еще десяток крепостей, и в гимназию прихожу триумфатором, предводителем закаленных в бою, непобедимых легионов.

Товарищи с унылым отвращением сидят над Кюнером и тупо твердят:

Panis, piscis, crinis, finis...

Входит Петрученко.

– Преферансов!

– Тимофеевский!

– Кепанов!

Двойки, единицы так и сыплются. Петрученко возмущенно крутит головою.

– Ну-ка... Смидович!

И мои испытанные когорты весело, легким шагом, без единой запинки устремляются в бой:

Очень много слов на is
Masculini generis:
Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis,
Orbis, amnis и canalis,
Sanguis, unguis, glis, annalis,
Fascis, axis, funis, ensis...

Петрученко с наслаждением слушает, как самые благозвучные пушкинские стихи, кивает в такт головою и крупно ставит в журнале против моей фамилии – 5.

А вот с арифметикой и вообще с математикой было очень скверно. Фантазии там приложить было не к чему, и ужасно было трудно разобраться в разных торговых операциях с пудами хлеба, фунтами селедок и золотниками соли, особенно, когда сюда еще подбавляли несколько килограммов мяса: Иногда сидел до поздней ночи, опять и опять приходил к папе с неправильными решениями и уходил от него, размазывая по щекам слезы и лиловые чернила.

* * *

Это была работа трудная и долгая: клался в рот кусок черной резины, и эту резину нужно было жевать – целый месяц! Все время жевали, только во время еды и на ночь вынимали изо рта. Через месяц из жесткого куска резины получалась тягучая черная масса. Называлось: съемка. Ею очень удобно было стирать карандаш на уроках рисования и черчения. Но не для этого, конечно, брали мы на себя столь великий труд: стирать можно было и простой резинкой. Главное удовольствие было вот какое: из черного шарика можно было сделать блин величиной с пятак, загнуть и слепить края, так что получался как бы пирожок, наполненный воздухом. Тогда пирожок сжимался Между пальцев, он лопался, и получалось:

– Пук!

Для этого удовольствия мы и трудились целый месяц. И у кого не было съемки, кто был ленив на работу, тот униженно просил дать ему на минуту съемочку, делал два-три раза «пук!» и с завистью возвращал владельцу. Если бы такую вещь можно было за две копейки купить в магазине думаю, никто бы ею не интересовался.

* * *

Иногда бывало: Геня, Миша, я и Юля сойдемся с таинственными лицами в укромном углу сада в такое время, когда никого из больших в саду нет.

– Никого не видно?

– Никого. Геня говорил:

– Идем!

Он был старший среди нас. Мы шли, воровато оглядываясь. Шли на общий, коллективный грех, заранее ясно говоря себе, что идем на грех.

В саду у нас много было яблонь, – и грушовки, и коричневые, и боровинки, и антоновки. Каждую мы, конечно, хорошо обглядели, знали наперечет чуть не каждое яблоко и часто с вождением заглядывались на них. Но яблочный спас был еще впереди; значит, во всех отношениях есть яблоки было вредно: для души, – потому что они были еще не освященные, для желудка, – потому что они были еще зеленые. Но теперь мы сознательно шли на грех. Сбивали

длинными палками, самые аппетитные и румяные яблоки и ели. Под алой кожицей мясо было белое, терпко-кислое, деревянистое. Но сладко было есть, потому что – нельзя, а теперь вдруг стало можно! И мы переходили от дерева к дереву и действиями своими радовали дьявола.

Наедались. Потом, с оскоминой на зубах, с бурчащими животами, шли к маме каяться. Геня протестовал, возмущался, говорил, что не надо, никто не узнает. Никто? А бог?.. Мы только потому и шли на грех, что знали, – его можно будет загладить раскаянием. «Раскаяние – половина исправления». Это всегда говорили и папа и мама. И мы виновато каялись, и мама грустно говорила, что это очень нехорошо, а мы сокрушенно вздыхали, морщились и глотали касторку. Геня же, чтоб оправдать хоть себя, сконфуженно говорил:

– А я яблок не ел: надкушу, а когда вижу, никто не смотрит, – выплуну, а яблоко заброшу в кусты.

Но от касторки это его не спасало.

* * *

Нам говорили, что все люди равны, что сословные различия глупы, – смешно гордиться тем, что наши предки Рим спасли. Однако мы знали, что наш род – старинный дворянский род, записанный в шестую часть родословной книги. А шестая часть – это самая важная и почетная; быть в ней записанным – даже почетнее, чем быть графом.

– Ну! Графом все-таки быть приятнее. Граф Смидович! А так никто даже не знает.

– Приятнее – да. А почетности такой уж нет.

И герб свой мы знали: крестик с расширенными концами, а под ним охотничий рог. Сначала был просто крестик, но один наш предок спас на охоте жизнь какому-то Польскому королю и за это получил в свой герб охотничий рог. Старший брат папин, дядя Карл, говорил нам:

– Наши предки не были королями, но они были поважнее: они сами выбирали королей.

* * *

В младших классах гимназии я был очень маленького роста, да и просто очень молод был для своего класса: во втором классе был десяти лет.

Вот раз иду из гимназии. Ранец за плечами тяжело нагружен книгами, шинель до пят, сам с ноготок. На Барановой улице навстречу мне высокий господин с седыми прокопченными усами, в медвежьей шубе. Он изумленно оглядел меня.

– Такой маленький – и уж в гимназия! Вот потеха! В каком вы классе, молодой человек?

– Во втором. – Я скромно потупился и прибавил: – И первый ученик.

Господин уж совсем изумился:

– Да что вы говорите?! Не может быть!.. Как ваша фамилия?

– Смидович.

– Не сынок ли доктора Викентия Игнатьевича?

– Да.

– Да что вы? Очень, очень приятно видеть таких детей... – Своею теплою большою рукою он пожал мне руку. – Передайте мой поклон Викентию Игнатьевичу!

Я шел дальше. Очень было гордо на душе и приятно, И неожиданно в голову вскочила мысль:

«Вдруг бы он сказал: „Очень, очень приятно видеть таких детей! Вот вам за это – рубль!“ Или нет, не рубль, а – „десять рублей“!

Десять рублей. Я стал соображать, что бы я купил на эти деньги. Коробочка оловянных солдатиков стоит сорок копеек. Куплю на шесть рублей, – значит... пятнадцать коробочек!

Русская пехота, русская кавалерия, немецкие гусары в красных мундирах и голубых ментиках, потом – турки в синих мундирах стреляют, а сербы в светло-серых куртках бегут в штыки. Таких сразу пять коробок, чтобы много было турок. Три коробки артиллерии. Артиллерия – шестьдесят копеек коробка. Всего семь восемьдесят. Остается два двадцать. На это – шоколаду. Палочка шоколаду – пятачок. Всего сколько? Со... Сорок четыре палочки! Сорок четыре! Из шоколаду – ложементы; нет – столько шоколаду – можно целую крепость. Из-за брустверов стреляют турки, торчат дула пушек. На турок в штыки бегут сербы, за ними русская пехота и всякая кавалерия.

Потом стал думать о другом. Подошел к дому, вошел в железную, выкрашенную в белое будку нашего крыльца, позвонил. Почему это такая радость в душе? Что такое случилось? Как будто именины... И разочарованно вспомнил: никаких денег нет, старик мне ничего не дал, не будет ни оловянных армий, ни шоколадных окопов...

* * *

Было мне тогда десять лет, был я во втором классе гимназии, и тогда вот я в первый раз – полюбил. Но об этом нужно рассказать поподробнее.

Первая моя любовь

Перед этим целый год у нас в Туле жил нахлебником Володя Плещеев, сын богатой крапивенской помещицы, папиной пациентки. Он учился в первом классе реального училища, я – в первом классе гимназии.

Володя этот был рыхловатый мальчик, необычно большого роста, с неровными пятнами румянца на белом лице. Мы все – брат Миша, Володя и я – помещались в одной комнате. Нас с Мишей удивляло и сместило, что мыло у Володи было душистое, особенные были ножнички для ногтей; волосы он помадил, долго всегда хорошился перед зеркалом.

В первый же день знакомства он важно объяснил нам, что Плещеевы – очень старинный дворянский род, что есть такие дворянские фамилии – Арсеньевы, Бибиковы, Воейковы, Столыпины, Плещеевы, – которые гораздо выше графов и даже некоторых князей. Ну, тут мы его срезали. Мы ему объяснили, что мы и сами выше графов, что мы записаны в шестую часть родословной книги. На это он ничего не мог сказать.

* * *

После экзаменов, в начале июня, Володя поехал к себе в деревню Богучарово; мы поехали вместе с ним: его мать, Варвара Владимировна, пригласила нас погостить недельки на две.

Станция Лазарево. Блестящая пролетка с парой на отлете, кучер в синей рубашке и бархатной безрукавке, в круглой шапочке с павлиньими перьями. Мягкое покачивание, блеск солнечного утра, запах конского пота и дегтя, в теплом ветре – аромат желтой сурепицы с темных зеленой овсов. Волнение и ожидание в душе, Зала с блестящим паркетом. Накрытый чайный стол. Володя исчез. Мы с Мишей робко стояли у окна.

Одна из дверей открылась, вошла приземистая девочка с некрасивым широким лицом, в розовом платье с белым передничком. Она остановилась посреди залы, со смущенным любопытством оглядела нас. Мы расшаркались. Она присела и вышла.

За дверью слышалось быстрое перешептывание, подавленный смех. Дверь несколько раз начинала открываться и опять закрывалась, Наконец открылась. Вышла другая девочка, тоже в розовом платье и белом фартучке. Была она немножко выше первой, стройная; красивый овал лица, румяные щечки, густые каштановые волосы до плеч, придерживаемые гребешком.

Девочка остановилась, медленно оглядела нас гордыми синими глазами. Мы опять расшаркались. Она усмехнулась, не ответила на поклон и вышла.

Я в восхищении прошептал Мише:

– Вот красавица!

Миша согласился.

Подала самовар. Пришла Володина мать, Варвара Владимировна, пришли все. Володя представил нас сестрам: старшую, широколицую, звали Оля, младшую, красавицу, – Маша. Когда Маша пожимала мне руку, она опять усмехнулась. Я в недоумении подумал:

„Чего она все смеется?“

Пришли с охоты старшие мальчики – восьмиклассник Леля, брат Володи, и семиклассник Митя Ульяновский, племянник хозяйки. Митю я уже знал в Туле. У него была очень узкая голова и узкое лицо, глаза умные, губы насмешливые. Мне при нем всегда бывало неловко.

Мы с Мишей сидели в конце стола, и как раз против нас – Оля и Маша. Я все время в великом восхищении глазел на Машу. Она искоса поглядывала на меня и отворачивалась. Когда же я отвечал Варваре Владимировне на вопросы о здоровье папы и мамы, о переходе моем в следующий класс, – и потом вдруг взглядывал на Машу, я замечал, что она внимательно смотрит на меня. Мы встречались глазами. Она усмехалась и медленно отводила глаза. И я в смущении думал: чего это она все смеется?

После чая я отвел Мишу в сторону и взволнованно сообщил, что мне нужно ему сказать большой секрет: когда я вырасту большой, я обязательно женюсь на Маше.

Миша под секретом рассказал это Володе, Володя без всякого секрета – старшим братьям, а те с хохотом побежали к Варваре Владимировне и девочкам и сообщили о моих видах на Машу. И вдруг – о радость! – оказалось: после чая Маша сказала сестре Оле, что, когда будет большая, непременно выйдет замуж за меня.

Красный и растерянный, я слушал, как все хохотали. Особенно потешался Митя Ульяновский. Решили сейчас же нас обвенчать. Поставили на террасе маленький столик, как будто аналой. Меня притащили насильно. Я отбивался, выворачивался, но меня поставили, – потного, задыхающегося и взъерошенного, – рядом с Машей. Маша, спокойно улыбаясь, протянула мне руку. Ее как будто совсем не оскорбляло, а только забавляло то шутовство, которое над нами проделывали, и в глазах ее мелькнула тихая, ободряющая ласка.

Митя надел, как ризу, пестрое одеяло и повел нас вокруг аналая, Миша и Володя шли сзади, держа над нами венцы из березовых веток. Остальные пели „Исайе, ликуй!“ Дальше никто слов не знал, и все время пели только эти два слова. Потом Митя велел нам поцеловаться. Я растерялся и испуганно взглянул на Машу. Она, спокойно улыбаясь, обняла меня за шею и поцеловала в губы.

Потом хотели устроить свадебный пир, принесли конфет и варенья. Но я убежал и до самого обеда скрывался в густой чаще сада. Было мне горько, позорно. Как будто грязью обрызгали что-то нежное и светлое, что только-только стало распускаться в душе.

* * *

Жизнь шла – во многом очень отличная от той, какая была у нас дома. Комнаты, полы, мебель были блестящее, столовое белье чище, чем у нас. Дети говорили матери „мамаша“ и „вы“, целовали у нее руку. Мне это казалось унижительным, у нас было лучше: мы целовали родителей в губы, говорили „ты“, „папа“, „мама“. За едою прислуживал лакей в белых нитяных перчатках, он каждому подносил блюдо. Это очень стесняло. Если блюдо на столе, – взял и подложил себе еще. А тут, – почему-то, – никогда меня лакей не слышал, когда я подзывал его. А раз подозвал вторично, – он неохотно поднес блюдо и сказал сиплый шепотом, скривив губы:

– Берите, барин, поменьше, а то мне ничего не останется.

Я сконфузился и взял две картофелины.

Жизнь была гораздо более веселая и легкая, чем у нас. Нам дома строго говорили: „Сделай сам, зачем ты зовешь горничную?“ Здесь говорили: „Зачем ты это делаешь сам? Позови горничную“.

Жил у них в доме отдаленный их родственник, Николай Александрович, слепорожденный, – худощавый молодой человек в черных очках. Он обыкновенно сидел в диванной комнате, там у него было свое особое кресло. Когда думал, что его никто не видит, он все время играл лицом, хитро подмигивал себе, улыбался, кивал головою. Часто кто-нибудь, подкравшись, водил травинкою по шее Николая Александровича или крал у него носовой платок, и он растерянно шарил у себя по всем карманам. И опять-таки у меня было некоторое радостное недоумение, что зачинщиками таких шуток были старшие мальчики, гимназисты старших классов, почти студенты, – что видела это и сама Варвара Владимировна и только улыбалась. Значит, все это здесь не считается скверным. Какие-то развязывались путы, какие-то запреты падали, и я с упоением делал то, что дома мне бы и в голову не пришло.

Раз я подкрался к слепцу и стал ему щекотать травинкою лоб; он мотнул головою; я отдернул травинку, потом провел ею по его носу. Вдруг Николай Александрович быстро вытянул руки и схватил меня. Он так сжал мои кисти, что я закричал:

– Ай, больно!

А он, со своею хитрою улыбкою про себя, все крепче сжимал мои руки, пока я не заплакал отчаянно. Тогда он выпустил меня и, мигая и хитро улыбаясь, слушал мой утихающий плач.

После этого я перестал его дразнить. Испугался его? Нет. Стало стыдно за то, что я проделывал. А не попался бы – не было бы и стыдно. Пойми, кто может.

* * *

К Маше я пылал непрерывным восхищением. Дикая застенчивость мешала мне легко разговаривать с нею. Слова были напряженные и неестественные. Но хотелось все смотреть, смотреть на нее, не отрывая глаз. Чтобы не было неловко, я придумал так. За столом сидел я как раз против Маши. И вот я стал передразнивать все ее движения. Она положит руку на стол – и я, она почешет нос – и я. Миша, Володя, Оля заметили это, стали посмеиваться, заметила и сама Маша. И весь обед я передразнивал ее и мог, значит, не отрываясь, смотреть на нее.

Раз за столом Маша сказала на ухо сестре:

– Меня очень удивило, что Витя...

Миша не расслышал дальше и повторил громко:

– ...что Витя не умеет держать – голову?

– Нет, не голову.

– А что?

Маша поколебалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.